
ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА

11 февраля 2016 года исполнилось 75 лет со дня рождения поэта Юрия Поликарповича Кузнецова (1941–2003), ещё при жизни вошедшего в классический ряд русской литературы XX века. Безвременная кончина этого выдающегося выпускника Литературного института и его педагога до сих пор не пережита теми, кто его знал, кто счастлив знакомством и общением с Мастером. В память о нашем учителе и друге публикуем сегодня статью-воспоминание студентки его семинара Марины Гах, содержащую ценные свидетельства, необходимые для создания подлинного, разностороннего портрета Юрия Поликарповича.

М. В. ГАХ¹

ПОБЕДИТЕЛЬ На семинарах Юрия Кузнецова

В статье выдающийся русский поэт, выпускник Литературного института Юрий Кузнецов представлен как литературный педагог. Эта его деятельность с 1992 года и вплоть до кончины характеризуется на основе воспоминаний и непосредственных записей его ученицы — поэта, литературоведа Марины Гах.

Ключевые слова: Юрий Поликарпович Кузнецов, Литературный институт, семинар поэзии, поэт, вторичность, книжная поэзия, Вадим Кожинов.

1. НАЧАЛО

Поступать в Литературный институт меня сподвиг муж, когда понял, что моё пристрастие к литературному творчеству не угасло ни с рождением ребёнка, ни с окончанием архитектурного института. «Творчество должно быть профессиональным», — сказал он, давая адрес и условия приёма в институт. Ни в какой литературной среде я не обреталась, вокруг были художники и архитекторы, свои опыты никому, кроме мужа, не показывала.

Меня взял на прозу Николай Евдокимов, ему понравились мои короткие рассказы. Я сдала экзамены, пришла на собеседование и... провалилась с треском. Хватило ума вступить в искусствоведческий спор с Евгением Юрьевичем Сидоровым, тогдашним ректором. Мне было сказано: коль я изучала историю искусств на архитектуре, мне нечего делать в Литинституте.

¹ Марина Владимировна Гах — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник; Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук (Москва, Российская Федерация); m.89096224576@mail.ru

Это был удар. У меня накопилось много задумок, были интересные идеи, литература изначально зрела во мне не как выражение своих собственных переживаний, томлений и т. д, меня интересовал героический эпос, классика тоже в этом разрезе, я почему-то рано осознала, что мне дан голос до меня немого рода, я должна многое сказать и не о себе. Это было странное чувство.

Я решила поступать снова. На второй год я прошла на поэзию и драму. Зоя Михайловна Кочеткова — бессменный куратор всех поступающих, вдумчивый историк, удивительный человек, когда мне надо было выбирать, сказала: «Вам чрезвычайно повезло, вас взял в семинар сам Кузнецов». Современной поэзией я не интересовалась, вовсе её не знала, поэтому робко переспросила: «Какой Кузнецов?» «Юрий Поликарпович», — жёстко ответила она. Отчество спасло. Обнаружив в библиотеке целый ряд поэтов Кузнецовых, я по отчеству нашла нужного, открыла наугад и сразу:

Противу Москвы и славянских кровей
 На полную грудь рокотал Челубей,
 Носясь среди мрака.
 И так заливался: «Мне равного нет!»
 «Прости меня, Боже! — сказал Пересвет, —
 Он брешет, собака!»

Тут я и поняла как волшеббно, как чрезвычайно мне повезло и какое счастье, что я не поступила в первый раз. Надо ли рассказывать, как я сдавала, как готовилась, как боялась собеседования. Но вместо Сидорова ректором стал Сергей Николаевич Есин, всё стало проще в общении, здесь интересовались твоим творчеством, а не прошлым. На собеседовании после пары дежурных вопросов, оглашая мою биографию, секретарь развеселилась: «У нас были кандидаты технических наук, даже филологических, но кандидата в мастера спорта ещё не было». «Гимнастика?» — оглядев меня, предположила одна из присутствующих дам. — «Теннис». «Тем лучше!» — почему-то определила она. Собеседование окончилось. Я поступила.

2. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Первого сентября я приехала за полчаса до начала торжественной линейки, где ректор и деканы факультетов должны были благословить нас на учение в институте. Мне не терпелось увидеть Кузнецова, с библиотечным томиком его стихов я не расставалась, там на фотографии он чуть насмешливо улыбался, я надеялась, что узнаю его сразу, — и не узнала. Позже он признался, что эту фотографию не любит. А тогда вслед за Есиным после торжественного мероприятия к нам в аудиторию, где должен был проходить наш первый семинар, вошёл высокий, широкоплечий человек, в голубой рубашке с закатанными рукавами, с усталым спокойным лицом. Есин представил его и велел нам написать небольшое эссе на заданную тему. Все стали писать. Кузнецов, скучая, глядел в окно, выходил покурить. Оказалось, задание это было важно для Сергея Николаевича, он набрал семинар прозы и хотел посмотреть способности других творческих семинаров, наверное, сравнивая со своими. В обеденный перерыв в столовой ко мне подошла Галина Ивановна Седых, доцент кафедры литературного мастерства, со словами: «Дайте по-

смотреть на человека, которому Кузнецов поставил четвёрку по творчеству». «Неужели у всех других пятёрки?» — подумала я. Оказалось, Кузнецов просматривал все подборки, присланные на конкурс, откладывая тонкую стопку с тройками, — тех, кого он брал к себе. И другую — большую, которых не брал. Так же он потом будет сортировать принесённые для печати в «Наш современник» стихи: тонюсенькую — себе, большую часть — обратно. А четвёрку мне поставил не за выдающиеся способности, а за единственную строку, которая его чем-то поразила: «Дай мне, Боже, равного по вере!» Но тогда я этого ещё не знала.

Начался семинар. «Судя по вашим вступительным подборкам, много книжных поэтов», — сказал Кузнецов. Он приводил на память некоторые строки из подборок разных студентов, объясняя: «Мало самодостаточности. Бумажная культура. Культура и псевдокультура. Опасность гладкописи. Блок: “Я слишком умею писать”. Так, Эрастов пишет: “жизнь прекраснее стихов”, и тут же о Чехове и книге. Книжность мешает видеть. Посылка одна, а говорит о другом. Не было задачи дать тезис, а потом опровергнуть, просто книжное зрение. Ничего от жизни, кроме слова “жизнь”. Стихи — это ещё не поэзия. Ложное положение — всегда вторичен. Роковым образом срабатывает рефлекс. Посмотрел на дерево, вспомнил образ из стихов».

После паузы, оглядев всех пристально, сделал вывод: «Надо писать своё, а не идти в затылок другому поэту, направлению стилевому, школе. Своё! У Ширяева в стихотворении легион часто не в первоначальном смысле, легко обращается. Слова Евангелия надо применять очень точно по смыслу, не снижая. “Легион” всегда относится к чертям; не владея культурой, употребляют всуе. Мельчится высота культуры, когда нахватанность, книжность, полукультура».

Я лихорадочно записывала, мне казалось: каждое слово столь весомо, что его обязательно надо ещё раз осмыслить. А Юрий Поликарпович объяснял далее; по существу, это была лекция о разных видах и подходах к поэзии: «Бахтин писал, что за тысячу лет культуры в ней уютно. Когда первозданные поэты сказали образы, слова, легенды, новое, за ними пришли вторичные и стали обживать, интерпретировать. Новый поэт (Гюго, Данте, Шекспир, всего несколько человек) открывали новый мир, за ними шли колонизаторы, осваивали. Третья волна жила уже в обжитом».

Ещё ошибка — увлечение бытовыми подробностями. «Быт ещё не бытие — узкий мир. Есть и у Блока — “Ночь. Улица. Фонарь. Аптека” — узкий клочок пространства и времени. Но какая сжатость, магия и световое пятно — фонарь. Создал образ замкнутого мирка. Но он — это взгляд поэта извне, а не внутри. Взгляд извне видит и пространство и т. д., а внутри не видно ничего. Брюсов и Блок шли от книги. Тарковский, Кушнер, Бродский — вторичность, в этом недостатки этого стилевого направления. Где книжность, всегда вторичность».

Потом он рассказал о «золотом запасе слов», затронул тему Моцарта и Сальери. Сделал краткий экскурс в современную поэзию. Было настолько интересно, так глубоко, что захватывало дух.

После занятий Константин Мельников, поэт из Киева, подарил каждому набор фотографий Анны Ахматовой, утверждая, что она великий поэт.

«Странно, что вашим любимым поэтом является женщина, и вдобавок Ахматова», — сказал Кузнецов. На вопрос Константина, как к Ахматовой относится Кузнецов, он сказал: «Так получилось, она вошла в литературу Серебряного века тем, что внесла в поэзию элементы прозы, а это не возвышение, а снижение поэзии».

На следующем семинаре он прочитал нам свою лекцию «Женственное начало в поэзии»:

«Есть во Вселенной начало мужское и женское. Как пишет, как смотрит мужчина и женщина — большая разница». Начав с мифа об Андрогине, он затронул мировую поэзию, наш эпос, народные представления, русскую классику, заставив по-новому взглянуть на ставшие хрестоматийными строчки. «Слово — запретный плод. Тютчев: “мысль изречённая есть ложь”. Пространство рождает звук, у Пушкина поэт — отзвук, голос — эхо, живое соединяет с призраком. Стихотворение “Эхо”. Эхо ничего не творит, это бессонная нимфа, женщина. Отсюда женские знаки нашей поэзии. Тютчев о Пушкине: “Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет”. Происходит сужение, замена матери молодой женщиной, что идёт вразрез с народным воззрением. Родина — мать. Ещё страннее у Блока, кровосмешение “О, Русь моя, жена моя”».

Меня это потрясло, так глубоко я не вчитывалась, даже не задумывалась об этом. Вот тебе разница мужского и женского мышления, подумала я. Дальше пошло ещё хуже — женщинам в поэзии отводилось только три пути: рукоделие, как у Ахматовой, истерия, как у Цветаевой, и подражание. Я совсем расстроилась, ни один из этих путей меня не устраивал. Исключением Кузнецов считал чилийскую поэтессу Габриэлу Мистраль. «Самое главное — женские потери. Только теряя, женщина обретает голос, пускай такой истеричный, как у Цветаевой. Женщине положено плакать. Сколько души в народных плачах и причитаниях! Вся литература русская проходит под знаком плача Ярославны». То есть опять же под женским знаком, сказала я себе, что-то тут не вязалось, явно был ещё путь. В конце лекции Кузнецов сказал, чего он не может принять в гражданской поэзии Ахматовой. «Ахматова берёт тему “Реквием”. Убила её своей гигантоманией, самовлюблённостью. Фигура молчания в предисловии — кокетство, и это возле какой темы. Её личная боль выше других:

Муж — в могиле, сын — в тюрьме,
Помолитесь обо МНЕ».

Я уехала домой с тяжёлым сердцем, позднее, когда я набралась смелости разговаривать с Кузнецовым, вернулась к этой теме. Мне не подходит ни один из перечисленных вами путей, заявила я. «Вижу, — улыбнулся Юрий Поликарпович, — но вы забыли, что есть исключения, это самое главное».

3. ЗАОЧНИКИ

Наш семинар был первым, куда Кузнецов набрал непосредственно студентов, до этого он работал с поэтами Высших литературных курсов. Разница была большой и сначала неожиданной для Юрия Поликарповича.

С первых семинаров произошло стихийное разделение на готовых учиться, воспринимать — и людей, для которых поэзия была актом самолюбования, писавших сразу гениально и требовавших восторга и поклонения. Таким оказался Андрей Ширяев. Высокий, тучный, он играл роль добродушного толстяка, этакого сибарита от литературы. Выделив меня ещё на собеседовании, он похвастался, что у него целый клуб почитателей его таланта, что они собираются каждую неделю, чтобы насладиться чтением его стихов. Видимо, сказанное не возымело на меня должного действия, я не упала в обморок от счастья, таких псевдогениев много было и в моём первом институте, кончали они, как правило, плохо, поэтому я не знала чему тут радоваться и чем восхищаться. Андрей приписал это незнанию его стихов и начал декламировать их. Вежливо похвалив его, я ретировалась.

Меня обсуждали раньше. Кузнецов разнёс мою подборку, так блистательно и точно определяя неловкости, пустоты, чужие блоки, что времени обижаться просто не было. Отметил он только стихотворение «Старик», и то первую его строфу. Андрей негодовал. «Что ты намерена делать?» — прямо спросил он. «Работать, исправлять». «Исправлять написанное, сотворённое, плод вдохновения?» «Плод больно незрелый», — попыталась свести я на шутку. «Ты не понимаешь! Надо бороться, он самоутверждается за наш счёт». — «Зачем ему это? Он и без нас настоящий Поэт. Я доверяю его мастерству и чутью, а отстаивать плохие стихи — глупо!»

Андрей обиделся и перестал со мной здороваться. Сам он всячески демонстрировал своё неприятие методов преподавания мастерства Юрием Поликарповичем. Когда тот читал нам лекции, он переговаривался с Алексеем Мошкаррой, заявляя во всеуслышание, что лучше обсуждать стихи друг друга, как делают на других семинарах, а не заниматься говорильней. Мне же, наоборот, лекции казались самым важным, мусолить построчно откровенно слабые стихи было намного скучнее.

Кузнецова это удивляло, расстраивало. «Зачем они пришли сюда, если не хотят учиться», — с горечью говорил он. (Этому феномену современности, отмеченному Палиевским в образе «гения без гения», Кузнецов даже посвятил отдельный семинар.) Ширяев ушёл к Левитанскому.

При всей чуткости, доброте, человечности в творчестве Кузнецов никогда не был снисходителен ни к возрасту, ни к полу. Творчество — дело серьёзное, поблажек быть не должно. Но удивительно, после разгрома Кузнецовым подборки хотелось работать с удесятёрённой силой. Это великое педагогическое мастерство — затронуть струну в душе другого человека и добиться верного тона. Зато и радовался он успеху, может, даже больше «виновника».

Когда я после нескольких провальных попыток написать стихотворение «Старик», на грани отчаянья: «Да что ж я за бездарь такая бесталанная!» — в электричке вдруг проломила какую-то глухую стену в себе и выдала результат, Кузнецов перед лекцией на следующий день, прочитав его, вдруг встал и с каким-то весёлым задором сказал: «А ведь может! Ну может же!» Это было выше любых похвал.

И тут же на занятии, ненавязчиво, он показал принцип работы с поэтической строкой. Он предложил студентам подобрать рифму к слову «груда» (годы, как груда камней), моя рифма ему не нравилась. Посыпались варианты,

он спокойно слушал, вдруг Миша Жаравин, замечательный вологодский прозаик, который ходил к нам «на Кузнецова», крикнул: «Простуда». Кузнецов встрепенулся, глаза загорелись, он рублёным жестом отмёл все предыдущие попытки и сказал: «Верно! Остуда, только остуда».

Кузнецова надо было слушать всегда напряжённо, внимательно, он мог в перерыве, перед лекцией случайно обронить одну фразу, несколько слов — и волосы начинали шевелиться от присутствия чего-то вечного.

Он никогда не опаздывал, в отличие от студентов. Всегда приходил за двадцать минут до занятий, иногда пил чай на кафедре. Я ехала из пригорода и из-за расписания электричек приезжала всегда раньше, так же рано приходила поэтесса из Казахстана Тагират Гаппаева. Мы с ней коротали время вдвоём на диване в полутёмном холле. Завидев нас, Кузнецов улыбался и говорил: «Ах вы, голубки сизокрылые, уже прилетели!»

Он мог удивительно улыбаться. Все вспоминают его замкнутым, мрачным, каменным, а у него была открытая, какая-то детская улыбка, лицо раскрывалось и становилось светлым, незащищённым. Улыбался он так нечасто. То, что всех поражало в его лице, была не гордость, не значимость, а постоянное напряжение мысли, глубокое проникновение во что-то неведомое окружающим. Поэтому и вид часто был у него отсутствующий, если не здоровался, просто не видел, так как зрел иное. Наблюдала один раз в метро. Он ехал со мной в одном вагоне. Стоял так углубившись в себя, что подростки-школьники стали тыкать в него пальцами и хихикать. Кто-то случайно толкнул его. Кузнецов словно вернулся издалека и вышел из вагона.

К поэтессе Тагират Гаппаевой он относился с большим уважением. «Вы пишете слишком смело для женщины», — говорил он. «Это не поза, — объяснял он нам, — она на самом деле так чувствует, и тем хуже для её личной жизни». Она приезжала только два раза, потом что-то случилось в семье, и мы больше её не видели.

Из девочек в семинаре была ещё Таня Бычковская, поэтесса из Донецка. С ней вышел такой казус. Я цитировала полюбившееся мне стихотворение Юрия Поликарповича «Поединок» всем и каждому, и никак не ожидала Таниной реакции. На семинаре она встала и выразила негодование по поводу того, что Кузнецов обозвал национального татарского героя собакой. «Мой национальный герой — Пересвет, если ваш — Челубей, так напишите о нём своё стихотворение», — предложил Юрий Поликарпович. Но — стихотворение не получилось.

«Главное достоинство Татьяны — жест, иногда изломанный, прикосновение — это большое достоинство. Смеляков — сел в кресло Ивана Грозного, “и молния веков его пронзила”. У Татьяны в стихотворении “Ворожу” есть живой жест, пусть глупый, но живой». С ней связана тема «кошки». Таня написала о домашней кошке обычное стихотворение. Кузнецов зацепился за тему. «Существуют смысловые, символические стихи. Кошка — символ. Всё имеет большой смысл, что бы ни затронул поэт. Существует мировая система символов-образов. Например, корабль. Образ мира. Много написано, многое вспоминается. Надо знать, что написано. Также кошка, это мистическое животное, в Египте — божество. Древние египтяне Луну сравнивали с

кошкой, глаза у кошки ночные. Человеческие глаза солнечные. Кошка видит во тьме, и Луна видит во тьме. Трансформировался кот-баюн, в сказке у Пушкина “кот учёный”. Гофман об имени кота написал целое произведение не случайно. Кошка, в отличие от собаки, не просто домашнее животное, это антагонисты, у них потусторонняя мудрость, в связи с ночным видением. У Бодлера кот, у Ахматовой. У венесуэльского поэта XIX века К. «зелёный кот». Кошка — тайна, когда бытовое использование образа, он обедняется. У Ахматовой чаще, чем у других, кошка. Мир Ахматовой замкнут — домоседка, монашенка, келья, неслучайно появляется кошка и в 1911 году, и в 1920 году.

На глаза осторожные кошки
Похожи твои глаза.
(«Целый день провела у окошка...»).

У Булгакова — чёрный кот Бегемот, оборотень».

Юрий Поликарпович загорался очень быстро, хорошо импровизировал, знал столько, что, казалось, его знаниям нет предела. После этой его мини-лекции о кошке я написала своё стихотворение, которое почему-то понравилось Кузнецову, хотя оно меня особо не задело, попробовала, как упражнение.

На семинаре был поэт из Владивостока. Кузнецов всегда интересовался, не голодает ли он, как добирается, билеты очень дорогие. Из-за материальных проблем он также смог приехать только два раза.

Дмитрий Константинов работал в газете в Новосибирске. Обсуждая его подборку, Кузнецов обратил внимание на то, что «шутка должна быть исполнена смысла, а в его стихах на острие ножа, смещается к пошлости: “не растёт у женщин борода” — безвкусица, так нельзя». И подводя итог после наших высказываний — «Предмета для полного разговора стихи не представляют. Это стихи условные. Существует условие — договариваются не тратить золотой запас, а выпускать условные деньги, ассигнации. Но чтобы выпускать ассигнации, надо опираться на золотой запас. Золотой запас для условных стихов — высокая культура. Много условных поэтов, много условного у Блока, но это обеспечено золотом большой культуры».

Евгений Эрастов, поэт из Нижнего Новгорода, также имел первое высшее образование, только медицинское. К тому времени у него были публикации. Кузнецова не устраивала рассудочность и книжность Евгения, он пытался бороться с ними всеми средствами, даже шуточно советовал изменить жене, чтобы испытать настоящее бесшабашное чувство, а не только рассудок. Для него он читал нам лекцию о Моцарте и Сальери.

«Если поэт сальеревского типа, он должен укрупнять свою личность: трудно пробиваться из вторичности». На обсуждении его стихов Кузнецов говорил: «Писать умеете, на ваш счёт спокоен, диплом защитите. Но прислушайтесь к сокурсникам, ощутили неискренность. Что за неискренность? Придумываете вы свой мир, относитесь к тому типу стихотворцев, которые всё пропускают через себя, к вам не подходит рубцовская формула: “О чём писать, на то не наша воля”. Вы своей волей пишете. Вы книжный поэт. Даже Блок книжный, но иной уровень, Брюсов книжный, а сравнения не выдерживает. Через себя пропускал весь мир Пастернак, эгоцентричность,

своё превыше всего. Опасность — гладкописание. Блок: “Слишком умею писать”. Эрастов — плоскогорье, нет обрывов, всё ровно, спокойно. Как относитесь к Казанцеву? (Евгений: “*Не нравится*”.) В мартовском номере журнала “Москва” за 1995 год моя рецензия на Казанцева “Человек сгорел и должен был сгореть”. Он тоже плоскогорье, диалоги — непонятно, от чьего имени, сам в себе не определился, стал гореть. Пережёвывает себя. Надо учесть его горький опыт. Также очень писучий, из двадцати стихотворений — одно хорошее, доверял Кожину, тот отбирал из двадцати — одно. Вам — больше требовательности к себе. У Шекспира пропасти и вершины, вплоть до пошлости “прекрасная мысль лежать между женских ног”, в потоке не воспринимается как пошлость. Познайте себя, что вам ближе из пяти чувств, и воспитывайте это. Расширяйте регистр, это необходимо, как книжному поэту. Вы существуете за счёт ассоциаций, а не золотого запаса, обеспеченного культурой. “Разворот опечаленных крыльев” — это что за эпитет? “Воплощенье немого бессилья” — это что? Неточность, погрешность в образности».

На другом обсуждении: «Чтобы быть поэтом, нужна трёхмерность, кроме длины и ширины, должна быть высота или глубина. Без третьего измерения духовное созерцание мира и предмета невозможно. Эпоха, какова эта эпоха? Нужно проникновение, чтобы был объём, духовное созерцание. А у вас все средства книжные, интуиции авторской нет, знания плоские, стиля нет, разностильность. Блок слушал музыку революции, но обозначил ритм. Определить ритм Евгений не может, допускает общие понятия: “гордый полёт анапеста”, можно по-другому. Некрасов «Рыцарь на час» — анапест рыдающий. Чтобы проникнуть в предмет, необходим эпитет, а он у Жени неточный, использует чужие блоки».

Евгений, один из наших заочников, смог доучиться до конца во многом благодаря своей рассудочности и терпеливости, получил корочку, не раз пользовался для публикации стихов тем, что окончил семинар Кузнецова, сам мне об этом рассказывал. Но не вынес главного, так и не понял, у кого он учился.

Алексей Гладков — московский поэт-мистик. Его интересовали в стихах только мистические мотивы. На обсуждении Кузнецов говорил ему: «Отсутствует образ мышления. Поэт должен мыслить образами, а Гладков рассуждает, под-поэт, а не поэт. Всё пишет путём рассуждений. Самое главное — стихи не волнуют, они умозрительны, энергичность сымитирована. “Ты свободен навсегда от боли, счастья и любви, богов, огня» и т. д. Перечисление слов, всё это за пределами поэзии. “Москва бесподобная летом” — из женской болтовни. Дома, деревья, листья, ветер — это не Москва, всё назывное, просто знаки, а не живое, чувства мертвы».

На другом обсуждении: «Критика справедлива. Много абстракции. Мало читает стихов, больше прозу, и прозу не художественную. У такой прозы нет эпитета. У вас главная задача — создать эпитет, не можете определить предмет, все эпитеты банальные, не видны, общие, нет своеобразного преломления, поэтому стихи бесцветные. Клише используете, заколдован красотами. “Непритворная ласка” — нет в эпитете ничего, из другого порядка эмоционального. Читайте Пушкина, у него “отчётливый эпитет” (Гоголь). “Циник поседелый, пронирыливый и смелый” о Вольтере, создаёт-

ся эпитетами образ. Убирайте повторения, “хранящий” много повторяется, девальвируется. Не надо сталкивать иностранные слова реклама-плакат, разбавляйте русскими — будет больше воздуха. Ильин о художнике: “Художник отличается от талантливого человека, который пишет на злобу дня, а художник — вживается в предмет, сам предмет диктует, из этого исходит. Надо довериться. А талантливый человек — от себя, его видение, сам предмет исчезает — интерпретация, называет, а ничего нет”. Надо исходить из предмета. В творчестве всё время отбор, всё лишнее должно отбрасываться!» Кузнецов, отталкиваясь от его привязанности, прочитал нам несколько лекцией о мистике в поэзии.

Был на семинаре Олег Буланков, поступивший сразу после школы, к нему Кузнецов относился очень по-доброму, приглашал к себе домой, беседовал. На обсуждении, после наших высказываний, Кузнецов: «Олег поражён немного при всей детской чистоте инфантильностью. Особенно это чувствуется в стихотворении “Стою у пропасти во ржи” и “Школьная медалька”. Когда Фолкнера спросили о Сэлинджере и его романе “Над пропастью во ржи”¹, тот ответил: “Это незрелый ум, незрелый человек пишет для незрелых умов”. Инфантильность, незрелость, неразвитость души, но ребёнок должен расти, когда тело растёт, а душа не развивается, взрослый человек поступает по-детски, инфантильность. Но у Олега есть стихи, которые говорят, что способен преодолеть эту инфантильность. У Буланкова есть пленительная недосказанность, что-то утаивает, что-то неясно и не говорит. В этом эффекте какое-то чудо. Когда всё ясно, разложено по полочкам, поэзии нет». Олег не доучился, начались проблемы с предметами, курсовыми, ушёл и поступил в МГИМО, стал дипломатом.

Можно писать ещё, я записывала все обсуждения, и не только высказывания Кузнецова, но и выступающих, и самого обсуждаемого. Но уже здесь видно главное: Кузнецов никогда не подходил к творчеству других свысока, не давил своей значимостью, все его высказывания были строго аргументированы, он разбирал построчно, он искал ту зацепку, которая может развить, дать толчок, помочь двигаться дальше, он определял ложные пути и старался помочь преодолеть соблазны. Он никогда не унижал, не высмеивал, относился внимательно и бережно. Подробно так привела его выступления на наших обсуждениях потому, что все мы были разные, у всех были свои просчёты, и это может помочь другим, которые пишут сейчас и способны увидеть свои недостатки.

Если стихи не трогали, было скучно в них копаться, пробегала подборку перед обсуждением, чтобы потом высказаться по свежему впечатлению. Кузнецов, при всей своей занятости, напряжённой внутренней работе, досконально изучал текст, не только построчно, но почти побуквенно. Выискивал зёрна, которые могут расти. Он был широкой души человек, хотел помочь от чистого сердца, не было у него никакой задней мысли: ни принизить нас, ни самоутвердиться за наш счёт.

¹ Название романа Сэлинджера в английском оригинале — *The Catcher in the Rye* (букв. — «Ловец во ржи»). — *Ред.*

4. «Я НАУЧУ ВАС МЫСЛИТЬ»

На одном из первых занятий Юрий Поликарпович сказал: «Я не сделаю вас поэтами, это от Бога. Но я научу вас мыслить». Я задумалась: значит, в поэзии надо мыслить как-то по-другому. Все лекции Кузнецова были направлены на то, чтобы развить в нас эту способность — мыслить творчески, образно, вдумчиво. Отметать ненужное, искать главное. Превращать зарифмованные строки в поэзию. Это было трудно, это было на грани отчаянья, это требовало колоссального напряжения. Кузнецов был очень требователен к себе, к своим стихам, прозе. Как-то он сказал, что великим поэтом станет тот, кто сможет писать стихи, не употребляя отрицаний, потому что любое отрицание — это разрушение образа, слова, понятия на подсознательном уровне, в тонком мире, в котором плетётся будущее, чем больше отрицаний в нашей жизни, тем хуже будущее. Я попробовала, этого было трудно достигнуть даже в бытовой жизни, эти частицы «не», «бес», «без» и т. д. накрепко въелись в нашу жизнь, как микробы. А Кузнецов написал рассказ «Два креста», где не было отрицаний. Он рассказывал, что трудность вызвал отказ бандуриста играть перед немцами. Как это решить? Он нашёл поэтическую формулу: «Перед врагом моя бандура отдыхает».

Он предостерегал нас от застоя творческого, предупреждал, что необходимо постоянно работать, если нет темы, просто даже искать интересную рифму, эпитет, не должно быть лени мысли. Творческий застой — это понятно, но что значит не останавливаться?

Поняла позднее, когда стала анализировать, почему многие талантливые поэты не могут найти общего языка с Кузнецовым, понять его тревогу и заботу, принять его требования. Так не получилось учиться у Кузнецова ни у Нины Каргашёвой, ни у Марины Струковой, которых присылал к нему Станислав Куняев. Они смогли одолеть какой-то рубеж, были отмечены, получили определённую известность. И им стало там уютно, они остановились. Им не хотелось идти дальше. Уровень поэта не должен быть на одном месте, пусть будут падения, будут и взлёты, требовательность к себе — главное в творчестве.

Он попытался давать нам темы домашние, как задание. Прочитав нам Калидасу «Облако-вестник», предложил написать стихотворение или поэму о дереве, скале, облаке. Это повергло народ в раздражение и попытку бунта. Написали только два человека, у меня получилась маленькая поэма об иве — сказка. Она была слабенькой, хотя Кузнецов несколько строф отметил. Но принцип работы над образом впрямую мне понравился, я готова была пробовать дальше, но, учитывая «настроение масс», Кузнецов заданий нам больше не давал. Он не давил — предлагал, если не хотели — отходил.

Важным в мышлении поэта Кузнецов считал его словарный запас и отношение к слову. «Все старые слова многозначны, образны и красивы. Если в общественной жизни деньги не обеспечены золотым запасом, происходит девальвация, инфляция, суперинфляция, так же в поэзии со словом. Есть золотой запас живого слова, поэзии. Книжность — это перевод, уже ниже, теряется. Существуют разные градации слова. У одного обеспечено 50% золотого запаса, у другого — 0,0001%. У Блока — 30–40%. Сейчас

99% стихов не являются поэзией. А один из мастеров-классиков сказал, что если бы было так, то поэзия переживала бы рассвет. Значит, ещё ниже 1% настоящей поэзии».

И добавлял как заклятие: «Больше требовательности, конкретности, воплощённой в жестах, слове».

На совещание молодых писателей, для поступления в Союз, меня рекомендовал журнал «Наш современник». Отделом поэзии руководил Геннадий Касмынин, которого Кузнецов ценил, читал нам его стихи. Моя подборка лежала у него больше полугода, как он признался потом, его смущала фамилия. «Подумаешь, редкость, — отозвался о моей фамилии Бажен Петухов, поэт и донской казак, — у нас на Дону целые станицы с такой фамилией». (По семейному преданию, мой далёкий прадед был хороший кузнец, на Дон бежал от лютости помещика, женился, родил пятерых сыновей, стал жить отдельно хутором, где было две кузницы, кто ни проезжал — оттуда всё: гах да гах! — молот стучит, так и стали они Гахами. Юрий Поликарпович даже нашёл у Шолохова подтверждение, что молот ударяет — гахает.) Это решило дело, меня напечатали, а потом пригласили в своеобразное ЛИТО при журнале. На совещании я снова попала в семинар Кузнецова и Александра Михайлова. Тут я увидела совсем другого Кузнецова, он был более замкнут, отстранён, задумчив. Не было той теплоты, которая исходила от него на наших институтских семинарах.

От семинара принимали двоих, а нас было больше десяти. Для рецензии мне дали стихи Наташи Лясковской. Стихи мне понравились, она окончила Литинститут, семинар Владимира Кострова. Были интересные образы: осташевские ивы, как бабы, подоткнувшие подола. Мне не понравилось только количество перечислений в стихах и привязка цвета глаз к бумажным купюрам. Её обсуждение прошло хорошо, Кузнецову не понравилось то же, что и мне, но в плюс он отметил её способность к малой форме стиха. На моём обсуждении Кузнецов отмалчивался, говорил больше Александр Алексеевич Михайлов. Мне показалось, Юрий Поликарпович намеренно меня сторонится. Решила, что ему не понравилась моя подборка, ему стыдно, что я у него учусь. Было горько. Когда великие принимали решение, сидели втроём, думали: поступит Наташа и ещё одна девушка, которая хвасталась всем количеством изданных книг, хотя её стихи меня не тронули. А взяли меня и ещё одного парня. Девочки на меня обиделись, словно я их как-то обманула, а для меня это было полной неожиданностью, я понимала, насколько ещё слаб мой уровень. Но Миша Жаравин, мой друг по заочке, писатель из Вологды, которого тоже приняли в Союз на этом совещании, сказал: «Ерунда, главное, что ты так чувствуешь, значит, отработаешь с лихвой». Это оказалось решающим для поворота всей моей жизни. Я твёрдо решила переходить на очный и «отрабатывать» то, что мне дали, как фору. Фора — это определённое количество очков, которые даются игроку или команде при игре с более сильным противником.

Так я и объяснила своё требование Сергею Николаевичу Есину, он пошёл мне навстречу и перевёл меня на очный. Большого счастья нельзя было предсказать. Я могла посещать все лекции полюбившихся мне педагогов, которые на заочном читали лишь небольшой блок, я могла учиться полнокровно. А

главное, буду каждый вторник приходить на семинар к Кузнецову, потому что как раз в этом году Юрий Поликарпович взял впервые очки.

С очниками Кузнецов работал много мягче, стихи хвалил так, что нам и не снилось, но работать ему было тяжелее. Они были слишком маленькими, многие вещи не могли воспринять в силу естественной необразованности или духовной незрелости. Не было отклика, их трудно было расшевелить, зажечь, их волновало другое, молодость играла и не давала особо углубляться в дебри философии и познания. Как пишет в своих воспоминаниях Елена Семёнова, которая училась в этом наборе, он представлялся им Виём, который закончит лекцию и скажет: «Подымите мне веки. Не вижу». Он их видел всех, и видел очень хорошо, прозорливо. Он каждому сказал, как идти дальше, что может быть опасным, где не оступиться. По существу, его похвалу надо было воспринимать как завет на будущее, но мало кто это осознал.

На семинаре был очень талантливый поэт Михаил Свицов. У него был хороший ритм, интересная образность, но он подпал под влияние Бродского, калькировал его, это тревожило Кузнецова. Он показывал ему чужие блоки в его стихах, объяснял, что близость тем давит, надо попробовать поменять тематику. Но Михаил был верен себе. Зря Елена пишет, что Михаил был ироничен при диалоге, а Кузнецов раздражён. Опечален он был, потому что не хотел ничего давления над душой другого поэта, учил вырабатывать своё зрение, свой слух, свою образность. Остерегал нас от подражания ему. Говорил, что подражание — большая опасность, соблазн идти по хоженому, проторённому, а надо искать свой путь.

Грустно получилось с Оксаной Перепелицей, очень талантливой украинской поэтессой. Когда обсуждались её стихи, Федор Черепанов, самый взрослый из курса (казак, прошёл боевые действия в Молдавии), очень серьёзный и вдумчивый, попенял Оксане, что её образы мелки, а «надо, чтобы они становились образами для всего народа». Кузнецов ответил за неё: «Она же говорит “мир на поверхности души”, не скрывает, не говорит о глубинах. Она бабочка, а вы хотите, чтобы она была мощная орлица». И далее: «Она творит свой мир, преображает реальный мир путём волшебства. Сонные видения врываются в реальный мир, предметный. Склонна к грёзе — видения чистые, лёгкие, воздушные. Порхание слов лёгкое, неуловимое, кружится волчком, вертит и листопад, и облака. В этом опасность, может рассыпаться. Главное, на чём всё держится, образ мышления, должна быть система. Образное мышление стихийное, хаос, космос, не рациональное, но строй должен быть, чтобы держалось. У Оксаны держится на женской натуре, женские ощущения первичного рода, девические ещё. Когда пишет, создаёт пространство: “Над городом плыли весь день облака” — воздушное пространство, но есть магнит, в конце видно, на чём держится, облака разбиваются в мелкие камешки. Облака по старому представлению сравнивали с камнями. “Но это движение синего дня, всё длилось и длилось, и влилось в меня” — всё в ней, вливается и улица, образ пространства. “И всё сквозь меня утекло, протекло” — это натура женская, ещё незрелая девически. Что будет дальше, какой магнит её притянет? Женская поэзия специфическая. Габриэла Мистраль — два цикла, посвящённые ребёнку, а сама в жизни не рожала. А те, кто рожал, у них нет, задавлены эгоизмом, как Ахматова. В

женской поэзии притяжение — мужчина, здесь нет, ещё не пришёл. Приглядчивость настойчивая к миру другому: часто зрачки, глаза, есть элементы рационализма в стихотворении о муравье, в “Обезьяннике”. Если верлибр очень рационален, ослабляет энергию. Что она ловит: звуки, ритмы — это главное. Ритм текучий, в нём мелькают предметы, которые рядом не стоят, но в текучести соприкасаются — ассоциативное мышление, присущее XX веку, это хорошо. Плохо то, что эта база мышления покоится на книге. Есть желание рисовать в стихах, не живопись, не изобразительность, а внутреннее волнение. Начитанность — это полукультура, когда будет культура, уйдёт это. Как матрёшка: одно в тебе, ты — в другом и т. д. А здесь одно уничтожает другое. Движение водомерки, скользит по поверхности, держится, а внизу бездна неведомая, бури врываются бессознательно:

И режет душу и глаза,
Хочется лежать и плакать,
Или просто умереть...

Это искренно, но большей частью выражается на словесном уровне, не жизненном. “Пересыпая тишину в сухих ладонях” — особенно словесный уровень. Разница: слова, слова, слова и СЛОВО. Слова, слова скользят над СЛОВОМ. Талант дан, есть детская инфантильность: “хрустальный шар прозрачного пруда”, “крылышко в мушином скрипаче” — просто крыло мухи, что за скрипач? “Глаз косых дождей, словно бонз” — берёте ответственные слова очень легко, это удивительно. Свежесть эту, простодушие надо сохранить. Что касается традиции, у нас нет такой традиции в русской поэзии, это от модерна. Когда модерн сочетается с фольклором — это поэзия, например, Гарсиа Лорка, но это не русская традиция. Материал — русское слово, а у русского слова своя культура, может вобрать что угодно, перенимает. У вас пока ассоциативное мышление, но разорванное. Клюев, “Погорельщина” — ассоциативное мышление, что не свойственно ему, но там узорочье русское. Близок Хлебников, но это сумасшедший, у него разорваны связи, всплески гениальных озарений. У вас прозападная ориентация, если пишете по-русски, надо и думать по-русски. Афанасьев исследует на примере древних индоевропейских народов корни славянского образного мышления. Нельзя оценить Есенина без Афанасьева, читал внимательно».

И подводя итог: «По стихам нельзя разглядеть вас, какое-то сновидение, призрачное, но все данные есть для крупной поэтессы. Много противоречий. В девятнадцатом веке были поэтессы Каролина Павлова, Растопчина, но крупнейшая Ахматовой и Цветаевой нет. После них по величине ещё одна — Светлана Кузнецова — создала свой образный мир, но страшная жизнь — нет Бога в стихах, поэтому большие мучения внутренние».

Но Оксане, долго работавшей в библиотеке, преданно любившей Пастернака, чужд был образ мысли Кузнецова, она ушла из семинара.

Кузнецов учил мыслить, относится требовательно к себе. Он щедро разбрасывал посев, а наше дело было очистить поле от камней, вспахать, подготовить. Чтобы понять, воспринять всю мудрость и глубину сказанного Кузнецовым, надо было серьёзно трудиться самому. Научить мыслить и научиться мыслить можно было только при обоюдном желании. Зато как

здорово было, когда эти всходы прорастали, это было зримо, это было удивительно, это было чудо. От подборки к подборке росли те поэты, которые старались мыслить, воспринимать. Особенно ярко это проявилось на Олеге Бурмистрове, он был заочник, два года выделялся только удивительными эпиграфами — то из зарубежных поэтов, то из восточных мудрецов. За эпиграфами его стихи пропадали. Тем более что он считал себя бардом и писал их для гитары. Кузнецов предупреждал его: «Банальный ритм: “Этих губ беспечность, этих глаз суровость” — всё это снятая вода. Это большая беда в банальных ритмах — инерция, подпал под неё и погиб. Объём можно приветствовать, но он очень замусорен, берите свои блоки, орхидея — нам чуждая, привезённая; полынь — наше степное, образ горечи. Нехватка материала, самонедостаточность восполняется мусором. Читайте непереводаемых, наших, чтобы ощутить язык, — Тряпкина, Передреева, читайте классику — Бунина, Фета, развивайте зрительную память». И вдруг на третий год Олег привозит удивительную, самобытную живую подборку. Он повзрослел духовно, вот как он предварил своё обсуждение: «Период метаний заканчивается, вхожу в свои берега, потихоньку нахожу свой стиль» Эпиграфами к стихам были забытые народные песни, очень интересно подобранные. Больше всего нам понравилось стихотворение «Болото», я даже записала его полностью в журнал, чего никогда не делала. Эпиграфом к нему было: «Э-эй, доля, доля моя, где же ты? — водою заплыла».

Всё ужасно плохо
И с души воротит,
Обрастаю мохом,
Как столетний пенёк.
А вокруг болото,
Страшный леший бродит.
И в лесу кого-то
Режут каждый день.

А в соседней луже
Плещется русалка,
Воет по-белужьи,
Что не разберёшь.
Получиться может
Славная рыбалка,
Но себе дороже,
Так же запоёшь.

Я боюсь лягушку —
Вдруг она царевна,
Я боюсь старушку —
Вдруг она Яга.
Это, братцы, враки,
Что любовь бесценна.
Не нужна собаке
Пятая нога.

Мне бы лучик солнца
Да глоток водицы
Из того оконца,
Где не видно дна.
Так бывает — сразу
Трудно утопиться...
Вот и пьём заразу,
Всё равно хана.

Кузнецов: «Недаром эпиграфами песни русские народные, в самих стихах есть напевность, скреплённая иронией, но есть иронические песни. Ирония — вещь тонкая. Со вкусом неважно дело. Юмор не удаётся, не хватает непосредственности жеста. “Болото” — лучшее из подборки, на своём уровне законченное. Это достижение». Не устроило его только четверостишие с пятой ногой, предложил Олегу с ним поработать.

За период учебы сильно выросли Оля Ненахова, Таня Бычковская, Володя Цывунин, Алексей Гладков. Кузнецов удивительно радовался успехам других. Это было и его достижение, его маленькая победа.

Когда слышу сетования, что Кузнецов своей волей правил некоторые стихи перед публикацией в журнале, удивляюсь — это же тоже учёба, надо сравнить, понять, почему, что было не так. У меня из стихотворения «Бабкины сказки» Кузнецов убрал последнюю, как я считала ударную строфу, в которой раскрывался смысл стихотворения. Я удивилась, стала думать и поняла, что именно недосказанность сделала стихотворение поэзией, не надо объяснять, каждый найдёт своё. Возмутился Валерий Гришковец, но напечатал в другом издании стихи с правкой Кузнецова, значит, тоже нашёл своё зерно. Не надо цепляться к Кузнецову, надо начать с себя. Человек, который винит другого, теряет свою душу. Мыслить и быть требовательным к себе — вот завет Кузнецова.

5. ПАМЯТЬ

Со мной такое начало происходить, когда я уехала из дома учиться. Жила я в Ялте, учиться стала в Ленинграде. Совсем другая природа, места, мною никогда не виденные, и вдруг приезжаем убирать картошку на первом курсе в село Копорье. Вечерком идём осматривать старинную крепость. Подхожу к бойнице и вдруг слышу свист стрелы, чувствую толчок ветра у виска, откачиваюсь назад и понимаю, что это глюк. Но ощущение было настолько явным и ярким, что не давало мне покоя. Второй раз в крепость пришла сама, и опять неладное, вдруг почувствовала резкий запах гари, услышала звуки битвы, ржание коней. Ощутила себя воином, даже тяжесть доспеха почувствовала. На третьем курсе художественная практика проходила у нас по Золотому кольцу. В Ростов Великий я приехала позже на день, пошла искать общежитие сельскохозяйственного техникума, где остановились наши, случайно вышла к озеру. И снова, как морок, чёткое видение. Я написала стихотворение. Решила показать его Кузнецову.

Был жаркий день. Ростов Великий
О прошлом грезил у воды.
Шум автострады. Чаек вскрики
Совпали с отзвуком беды.

И преломилось отраженье,
Поднялся к солнцу донный лёд.
Веков привычное течение
Вдруг завертел круговорот.

Набат и крик. Волною жгучей
Моё лицо опалено,
А по полям несутся тучи,
От вражьих стрел темным-темно.

И я к соседям за подмогой
Скачу сквозь чашу напрямик.
Часовня, рядом сруб убогий
И в схиме сгорбленный старик.

И от его благословенья,
По взмаху старческой руки,
Исчезло страшное виденье...
Холодный вечер. Огоньки.

Стрекочет вдалеке моторка
И ноги трогает волна.
А в сердце острая иголка.
И тишина.

А утром, в сумерках вороньих,
Пройдя деревню, чахлый лес,
Нашла развалины часовни
И чёрный безымённый крест.

Кузнецов: «Это не одно воображение, вы настроены на какой-то тон, который совпадает с памятью рода, прапамятью. Это путь развития, замыслы вспыхивают, возникают, это хорошо. Но необходимо оттачивать образность, зреть».

После этого Кузнецов прочитал нам лекцию «Память — вечная тема поэзии»: «В творчестве и жизни — две движущие силы: воображение и память». Он рассказывал в этой лекции о вечных городах, которые строились на века, о фёдоровской «Философии общего дела», который был не восминателем, а воскрешателем. «Эпоха Возрождения, по мысли Фёдорова, переместила центр тяжести из прошлого в будущее, в ту область, о которой никто не знает, в пустоту. Большое значение стало придаваться человеку». Он много цитировал, рассказывал о фразе «Иван, не помнящий родства», о нарушении памяти, о забвении, и, как вывод: «Воскрешение корней языка — область памяти, потом воображение. Па-мять — поверх того, что имею. Творчество преобразует, даёт систему и выстраивает. Самое главное знание — интуиция, она выберет нужное и оставит в памяти, сделает частью души, остальное —

мусор». Сам Кузнецов относился к этой теме очень серьёзно. Он работал в издательстве и издал трёхтомник Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». Он понимал, что для писания на русском языке нужна русская память слова, его корней, русская образность, иначе 99% не поэзии, которая мнит себя таковой, путаясь в понимании простых русских корней, поэтому щедро заменяя их иностранными словами, якобы расширяя свой словарный запас. Расширение запаса идёт из золотого фонда, поэтому Кузнецов добился, чтобы трёхтомник был роздан его студентам бесплатно. Он составил список, и мы получали его в издательстве пофамильно. Это был важный взнос, гигантский труд, сравнимый с его поэтическим переводом «Лествицы». Он очень интересно рассказывал, чем отличается Ветхий Завет от Нового.

Кузнецов помнил обо всех. Помогал, кому мог, и помогал многим, пробивая стипендии студентам и ВЛКашникам через Союз писателей. Зная, что у меня дочь, а у мужа перебои с работой, пробивал стипендию и мне. Он помнил даже о тех, кто не учился у него. Так, зайдя вечером на кафедру творчества отдать журнал, увидела его сидящим среди груды рукописей. «Просматриваю дипломные работы прошлых лет разных семинаров. Нашёл стоящее». Нашёл человека, который окончил институт, уехал в деревню невостребованный и забытый. Кузнецов написал ему, затем напечатал его подборку в журнале. Скольких таких безвестных самородков он отыскал по городам и весям, скольким дал возможность прозвучать...

Его память была всегда действенной. Окончив одну лекцию, через какое-то время опять возвратился к этой теме, но с другой стороны. Начал с Гумилёва, «Туркестанские генералы» — держит стих память отечества, не личная память, но шире, память отчизны — образ памяти. Середина XX века — военное поколение вспоминало. 1380–1980 — 600 лет Куликовской битвы — отеческая память, «Иван непомнящий» вспомнил. Большой рубеж в истории Отечества. Погибшее военное поколение — мужики, а не интеллигенты, «погибли все лучшие» по воспоминаниям фронтовиков. Это истина нравственная, память нравственная. Заслуга поколения — возвращение к теме памяти и путь этой темы вглубь к истории России. Сам Кузнецов совершил подвиг на этом пути, вывел из тьмы забвения четырёхсот погибших с его отцом, об этом поэма «Четыреста». Он говорил нам на лекции: «Память сливается с совестью, стыд, боль живёт с забвением, со славой, с мечтанием. У поэтов, у которых развита память, сильно развито и забвение. Это оборотная сторона». Затем он читал лекцию «Забвение».

Кузнецов любил дарить книги. Дарил тоже с прицелом, направляя, давая очередную возможность продвинуться вперёд. Зная о моём увлечении эпосом, сказками, подарил мне двухтомник Сергея Максимова «Крестная сила» и «Нечистая, неведомая сила» издательства «Русский духовный центр», «100 стихотворений» Светланы Сырневой, несколько своих сборников и «Пересаженные цветы» — свои переводы. Дарил книги другим ребятам.

А на моём обсуждении, когда московская поэтесса Юлия Тарантул отругала меня за отсутствие современных слов и чувств, Кузнецов обронил фразу, ни к кому не обращаясь: «Времени нет, есть память».

6. СТЫД И СОВЕСТЬ

Одной из важных лекций была «Образ и понятие стыда в русской поэзии». Кузнецов считал плохим показателем, что современность теряет совесть и стыд не только в жизни, но и в творчестве. «Понятие стыда забыто, ушло из жизни, а самое главное — из поэзии. Стыд — внешнее проявление совести, может быть истинным и ложным, всё зависит от совести. Бесстыдство — противоположно стыду и тоже связано с совестью. Совесть — понятие не бытовое, глубинное, по-христиански это внутренний, Богом данный закон, который ни от чего не зависит, только от самого человека. Всё внешнее — это внешнее, совесть внутри, нельзя жить заёмной совестью. Со-весть, весть с Богом — божественная весть, — её религиозный Кант определил как “нравственный закон внутри нас”. Внешнее проявление нравственного закона — стыд.

Совесть понятие национальное, дано от Бога, не историческое, но не узконациональное, а этническое».

Он определил истоки в национальной поэзии, читал классику: Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, показывая, как совестлива их поэзия, какие сильные образы. Но уже «опыт XX века — совесть забыта, так как забыт Бог». Привёл стихотворение Анненского «В дороге»: «О мучительный вопрос: наша совесть, наша совесть».

«Неполное соответствие образа и понятия переводит в риторическую область — мучительный вопрос. А совесть не вопрос, это закон, ответ, данный Богу, а здесь всё умственно, понятийно». Приводил стихи Ахматовой, которая шла в классической традиции, но и у неё прозвучало: «растут стихи, не ведая стыда» — «то есть вне зла и добра, — объяснял Кузнецов, — Бога забыли, вырождение, декаденство.

Но в безбожную эпоху совесть пробудилась. У Твардовского в гражданском стихотворении, где нет почти образов:

Я знаю, никакой моей вины,
В том, что другие не пришли с войны...
.....
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...

Горечь есть, возвращается совесть. Такое стихотворение может быть написано после любой войны, оно бессмертно, так как коснулось вечной темы. В современной прозе держится (деревенская, городская) — лучшая проза.

Константин Воробьёв — традиция литературы XIX века — стыдливой, совестливой литературы. А в поэзии почти нет. Гражданская лирика шестидесятых годов — область слов, словесных фигур, не идёт в глубину. Негативные проявления погубленной совести — бесстыдство. Лимонов использует мат. Утрачено целомудрие. Классика даёт образ целомудрия — “Коробейники” Некрасова: “Распрямись ты, рожь высокая, / Тайну свято сохрани”.

Нравственность иссушается, морализаторство в поэзии, трескучая назидательность, пропадает красота. Эту тему форсировать нельзя. Когда стыда нет — всё назывное, таких много стихов гражданских о России. Стыд даёт глубину, уходит к совести внутри человека бездна».

Юрий Поликарпович был требователен к себе, в его стихах нет пошлости, нет безнравственности. Он не терпел пошлости ни в стихах, ни в жизни.

Человек судит по себе, чем больше пошлости в нём самом, тем с большим удовольствием он опошляет всё вокруг. Но напрямую я столкнулась с ней по отношению к Кузнецову два раза. Мы хоронили Евгения Николаевича Лебедева, поэта, удивительного исследователя творчества Баратынского и Тютчева, чудного человека, он был тоже 1941 года рождения, как моя мама, как Кузнецов. Меня попросили сказать несколько слов от студентов. Я сказала, заключив тем, что теперь стихи Баратынского и Тютчева будут звучать для нас вместе со словами Лебедева. Я сказала от души, Кузнецова это тронуло, после церемонии он повёл меня в Союз писателей, который был рядом, в другом переулке.

В кабинете навстречу нам поднялся маленький человечек с большим носом и в роговых очках. Весь в сером, серые редкие волосы. «Привёл поэта, надо напечатать», — с порога сказал Кузнецов. «Что значит “надо”, кто сказал?». — «Я». И тут человечешко высказался совсем откровенно, хоть и тихо: «Водят полюбовниц, а мы печатай». У меня даже дыхание перехватило. «Юрий Поликарпович мой учитель, он мне в отцы годится, а вы говорите такие гадости». «А ты вообще ничто!» — заорал он на меня, вдруг обретя голос. Возможно, дело могло дойти до рукопашной, рядом очень соблазнительно стоял графин. Но Кузнецов развернул меня молча и вывел из кабинета. Он ушёл, не попрощавшись со мной, опустив плечи.

Позже я поняла, что ему было стыдно передо мной за этого человека, за то, что он представлял Союз писателей, за отношение к нему, поэту. Не человечку стало стыдно, а Юрию Поликарповичу, который и виноват ни в чём не был. Я кипела, но, остыв, вдруг осознала, как меня назвал этот серый пиджак. «Ничто!» Ну и пусть, я же русское «ничто!». И ещё я поняла, как легко и соблазнительно опорочить человека для таких «серых», ничем не выделяющихся в жизни. А когда через несколько лет столкнулась с тем, что выпускники филфака МГУ, преподаватели литературы, лучше знают любовные похождения Пушкина, чем его творчество, поняла, что таким «серым» несть числа, имя им легион.

Второй раз, уже после института, на пятом месяце беременности, я принесла подборку Кузнецову в журнал. Мы немного поговорили, тут в дверь вошёл поэт из Ленинграда, как отрекомендовал его Кузнецов. Он был без пальто, несколько под градусом. «Моя ученица», — представил меня Кузнецов. «Твоя? — протянул поэт. — Больно хороша для ученицы!» Тут вскипел Кузнецов: «Ты что, ослеп, у бабы муж, двое детей, брюхата третьим!» Поэт виновато заморгал: «Думал, девчонка». «Хорошо сохранилась», — буркнул Кузнецов, я попрощалась и ушла. Здесь не было попытки обидеть, была неудачная шутка, на грани с пошлостью. Настоящий поэт, открытый глубинам слова, гораздо острее воспринимает и жизнь, и слово. Он был очень ранимый, но не показывал вида, хотя в душе переживал и обижался.

Своё отношение к Кузнецову я осознала, когда в первый раз прочитала его стихи, ещё не видя его самого — духовная близость. Я понимала его мысль, мне были близки его чаянья, его тревоги относительно России, меня

мучили те же вопросы. Только он был мудрее, сильнее, глубже, мне было чему учиться, и училась я с радостью. Тем горше осознавать сейчас, что многие воспоминания о нём тех, кто его знал, кого он учил, с кем был дружен, направлены не на то, чтобы выявить многогранность личности Поэта, а на то, чтобы либо выпятить себя, либо принизить Кузнецова, возможно неосознанно. Так в воспоминаниях о нём можно выделить две фигуры: гиперболизацию и умолчание. Относятся они обе к одной теме — пития.

Читаю, что Кузнецов много пил, особенно в 1990 годы, но я училась у него в 1993–1998 годы, видела его каждый вторник на семинарах и не один раз в другие дни в институте, библиотеке. Он не пропустил ни одного занятия, ни одного. Всегда был аккуратен, адекватен, собран. У него была лекция «Питие в творчестве». Пишущие о том, что Кузнецов много пил, либо хотят показать, что они пили с поэтом — каково! — либо опускают его до своей планки, — это гиперболизация. Не лучше умолчание. Так, Елена Семёнова пишет в своих воспоминаниях, что они купили выпивки, чтобы стать ближе с Кузнецовым, выпили, но ничего не изменилось. Ну и учитель, не стал теплее даже после выпивки. А он никогда не пил со студентами, я ведь училась вместе с ними. Мы хотели отметить его день рождения, я напекла пирогов, сделала торт, принесли закуску, бутылку, которую очень легко уговорили наши мальчишки. Кузнецов попробовал только выпечку, и то чуть-чуть. Мне кажется, в своих воспоминаниях, особенно о людях такого масштаба, надо быть предельно строгим к себе. Здесь должно быть, как у врача: Не навреди! Потому что люди, которые придут после, поэты, читатели не должны получить искажённый образ. Велик соблазн принизить всё высокое и благородное, потому что этих чувств — чистых, светлых, целомудренных — стало мало вокруг.

Я, не желая того, обидела его два раза. Первый, когда в начале обучения он пригласил меня на лекцию к ВЛКашникам, обещал интересную тему, а я заболталась с девчонками и не пошла, полагая, что у меня ещё сколько лет учёбы, ого! Больше он не приглашал. А второй раз, когда у меня родился сын, он очень тепло меня поздравил, и я попросила быть крёстным отцом Егору. Он согласился. В назначенный день не вышло, Егорушка заболел, а потом мы уехали в Крым. Это был 2003 год. Осенью я пришла в журнал с подборкой. Кузнецов сказал мне с такой усталостью и горечью, что у него уже появился крестник, но что это ничего не даёт. А потом его не стало. Егора я крестила уже после, но и ему говорю, и сама считаю его крёстным отцом Юрия Поликарповича.

6. ВЫБОР ПУТИ

Когда меня на обсуждении отругали, что нет личных стихов, например, про любовь, я ответила, что мои чувства не кажутся мне предметом поэзии. Всех это удивило. Однако Кузнецов посоветовал мне всё же попробовать написать о любви. Поэт должен охватывать мир целиком, не должно быть пропусков, зияний, надо пробовать себя во всём. Я написала два стихотворения, они Кузнецову понравились. И вдруг Юрий Поликарпович на следующем семинаре прочитал нам статью Кожина о Твардовском и Заболоцком «И счастлив тем, что я не чудо». У них тоже нет личной поэзии, не считают

себя предметом лирического плана, то есть исключением. Их герой — народ. «Минус, что поэты не первого ранга, можно сказать, что за ними будущее, придут более сильные поэты, пойдут по их пути, но и это спорно. Нельзя принимать концепции на веру, все концепции на словесном уровне, мало связаны с жизнью». А мне такая позиция понравилась, она была сходна с моей, хотя и не совсем. Я поделилась своими сомнениями с Кузнецовым. «Поэзия — это прямое отношение к жизни, ищите его в себе, найдите в себе тот стержень, вокруг которого строится судьба и поэзия». Я ещё раз перечитала Твардовского и Заболоцкого и поняла, что именно меня не устраивает: в их стихах не было высшего начала, не было Бога, поэтому природа народного бессознательного не прорывалась ввысь, не было выхода.

До этого Кузнецов предложил мне сделать содоклад на тему «Родина», он читал о литературе, а я должна была рассказать об отношении к этой теме у художников. Случилось это после того, как я подарила ему на день рождения акварель. Кузнецов показал её знатокам и с удивлением передал мне, что «этуд написан на профессиональном уровне». Он вдруг увидел меня с другой стороны, ему стало интересно увидеть иной срез, не только литературный. Я подготовила. Удивительно, что на художников я теперь смотрела по-другому, кузнецовские лекции не пропали даром, я вдруг открыла для себя то, над чем раньше просто не задумывалась. Так, я с удивлением поняла, что ученик Саврасова Левитан, взяв за основу композиционный принцип этюда своего учителя «Безымянный крест», не просто развил тему, написав картину «Над вечным покоем», но... убил её иным, не русским пониманием этой темы. У Саврасова взгляд от креста устремлён к небу, вектор движения души, стремления, покаяния. А у Левитана взгляд сверху, над крестом часовни, взгляд не православный, можно сказать, что это взгляд души, но опять нет грации высшего, куда должна она устремляться. Это меня поразило, потому что картина Левитана мне очень нравилась, я растерялась. Кузнецова моя растерянность позабавила: так говорите, сверху смотрит, отношение к Родине и вере поверхностное, свысока? А вы как смотрите?

Религия и вера росли со мной, прабабушка подолгу молилась, постилась, знала все церковные обряды и праздники. Я росла в основном у бабушек. Мама училась в институте, папа был капитаном, приходил поздно, а когда мы переехали в город, все выходные и каникулы я всё равно проводила у бабушек, там был мой духовный дом, воля, море, лес, друзья. Прабабушка была удивительная, ей довелось окончить четыре класса приходской школы в селе Бджолинка Богучарского района, но окончила она их так блистательно, что священник рассказал о ней на проповеди, и приход собрал деньги на её дальнейшее учение, но учиться пришлось недолго, семья бедствовала, и ей пришлось уйти в няньки. Однако тяга к ученью не только не прошла, а развилась с годами. Хотя доля ей досталась нелегкая, после раскулачивания, мужа сослали очень далеко, строить химзавод в Чимкенте. Она жила с детьми в сыром погребе, дети стали болеть; похоронив двойняшек, взяла четверых оставшихся и пешком на перекладных пошла за мужем. Войну пережили там. Там в 1941-м родилась у бабушки мама, так и не увидевшая отца; бабушка беременная, на восьмом месяце, проводила его на фронт. Когда народ набирали ехать восстанавливать Крым, прабабушка снова круто

поменяла судьбу, так они оказались в Магараче, поселке возле Ялты. Сажали виноградники, создавали рыболовецкий совхоз. Прабабушка вела дом в строгости, её слушались все. Но главное было по вечерам, она читала вслух. Все собирались вокруг, а читала она Достоевского и толковала его по Новому Завету и Часослову. Это я вынесла из детства. Всё поверялось верой, из веры росли стойкость и сила. Но я не была тогда воцерковлена, вера была во мне как данность, намоленная предками. Но если есть порыв, всё идёт одно к одному. Славецкий Владимир Иванович, который вёл у нас стихосложение, после нашего с ним спора о Кузнецове, которого он считал книжным поэтом, подарил мне книгу Федотова «О духовной поэзии». «Кузнецов нашёл свою нишу в поэзии, вам надо тоже определяться».

Стихотворение «Молитва» написалось неожиданно, оно было о моём отношении к любви, жертвенном, спасающем. Оно понравилось Кузнецову. Пожалуй, вы нащупали путь, сказал он мне. И после на обсуждении подвёл итог: «Целомудренность, спокойствие души, может, самое ценное у Марины, её стихи — умная молитва. Неторопливая походка, неторопливо пишете. Незамутнённость души, цельность в наше разорванное время ценны». Я поняла это, как завет на будущее, он указал мне движение, направил.

Мне очень нравилось учиться в Литературном институте, каждая лекция, каждый предмет задевали, были интересны по-своему. Мне посчастливилось, целая плеяда удивительных педагогов, профессоров, которые не просто читали лекции, а жили литературой: Ерёмин, Смирнов, Лебедев, Корниенко, Молчанова, Кожинов, Палиевский, Иванов, Дерягин, Карабутенко, Горшков... Я, пожалуй, назвала ещё не всех. Это был мой мир. И всё же главным в этой плеяде был Кузнецов, он учил меня мастерству.

На диплом стихотворения отбираются за всё время учения, отбирает руководитель семинара, получается подборка, по которой можно отметить рост. А мне захотелось сделать что-то вроде небольшого сборника, объединить стихи под одной темой, темой памяти. Назвала я его «Кресты и звёзды». Туда вошли не все отобранные за годы учёбы стихи, много было новых, написавшихся по теме, некоторые Кузнецов не видел, тем интереснее мне было его мнение. А ещё мне хотелось проверить себя по полной программе, и я, набравшись смелости, попросила рецензировать мой диплом Вадима Валерьяновича Кожинова, он как раз читал у нас спецкурс. За это получила нагоняй от Владимира Павловича Смирнова, который и приглашал к нам таких удивительных людей. Чтобы загладить свою ошибку, подошла к Кожинову и предложила любую помощь, за его согласие меня рецензировать. Он попросил меня напечатать на машинке рукописный текст его статьи для журнала «Наш современник», сам он не печатал. Я с радостью согласилась, печатала быстро, у нас в школе было делопроизводство и машинопись. Так я побывала несколько раз у него дома. Увидела удивительные стеллажи книг, знаменитую кожиновскую библиотеку, а главное, мы с ним разговаривали и о стихах, и о песнях, которые Вадим Валерьянович очень любил; больше говорил он, а я внимала. На его вопрос, понравилась ли мне его статья, ответила, что за количеством фактов не виден вывод, если журнальный вариант, есть смысл сократить доказательства в пользу обобщения. Его мой ответ удивил, он сказал, что считал главным именно доказательства. Когда разговор зашёл

о моём творчестве, Кожинов сказал, что не может назвать меня по стихотворениям поэтессой. «И выбор тем, и образы говорят о том, что вы — поэт. Но в рецензии мне придётся вас так назвать, таковы установочные правила написания официальной бумаги». Ему мой сборник понравился, он рекомендовал его в печать, но, помня свой горький опыт, никуда я его не носила.

Благодаря Кожинову поняла, почему Юрий Поликарпович не разрешил мне приходить к нему на лекции после окончания института. «Я вам уже всё рассказал, дальше буду только повторяться, а мне этого не хочется», — сказал он мне. Я очень расстроилась, я уже не представляла, как буду жить без его лекций, его руководства. Оказалось, сделал он это намеренно.

Через несколько лет после окончания института, учась в аспирантуре в ИМЛИ у Натальи Васильевны Корниенко, встретила в очереди в кассу Вадима Валерьяновича. «Поздравьте меня, у меня сын родился!» — сказала я ему после приветствия. «Это хорошо, — ответил Кожинов, — но сначала поздравлю вас с другим. Читал вашу подборку в журнале “Наш современник”. Хорошие стихи, самостоятельные, вы идёте своим путём. Не оправдались опасения Кузнецова, что не сможете преодолеть притяжение его стихов. Поздравляю!» И предложил мне писать у него, после защиты кандидатской, докторскую о творчестве Любви Кохановской — незаслуженно забытой писательницы XIX века. «Её проза сопоставима с Аксаковым, очень сильные образы, захватывающее повествование. Мне кажется, у вас много общего, вы сможете написать о ней, как никто другой». Я прочитала её романы, мне очень понравилось, но писать о ней пока не получилось. Родились мои кандидатские Маша и Егор, забот стало невпроворот, но ещё я поняла: чтобы писать о другом человеке, надо жить им, его творчеством, надо самозабвенно предаться служению его памяти, его таланту. А мне хотелось творить самой.

Вскоре Вадим Валерьянович Кожинов умер. Чтобы поддержать морально и материально его вдову, её взяли на работу в «Наш современник». Сидела она в одном кабинете с Юрием Поликарповичем. Однажды прихожу, его не застала, а она сидит чем-то расстроенная. «Представляешь, как со мной намучился Кузнецов, — пожаловалась мне, — мало того, что всё время болтаю, всё забываю, а тут ещё и кружку помыл». Показывает чисто вымытую кружку. «Я чай пью, а кружку мыть забываю, так он терпел несколько дней, а теперь вымыл. Оказалось, он такой аккуратист. И что мне теперь делать?» «Пить чай из чистой кружки», — улыбнулась я. «Но мне же стыдно! Ничего не сказал, взял и вымыл».

Так мне открылась ещё одна грань характера Кузнецова. Почерк у него был бисерный, чёткий, буква к букве. Он мне показывал подготовительные наброски своих лекций, ни зачеркиваний, ни помарок, чётко, ясно, правда, в основном цитаты; обобщения, мысли, рассуждения были импровизированными, поэтому он мог на одну тему прочитать в разной аудитории разные лекции. Это было удивительно. Рабочий стол в редакции у него был всегда аккуратно убран, все рукописи разложены. Он не давал себе поблажек ни в чём, даже в мелочах.

7. ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

В 2001 году у меня родился сын. В этом же году Кузнецов написал стихотворение «Анюта». Прочитала его в журнале — и сердце сжалось, настолько пронзительным, провидческим оно было. Я помчалась в журнал.

«Марина, в вас говорит материнский инстинкт, неужели вам не хватает своих забот, у меня всё хорошо», — ответил он на мою тревогу. В храме Вознесения Христова купила кулончик с Георгием Победоносцем, хотела ему отдать, но постеснялась. Потом думала подарить на крестинах, снова не вышло. И вот, договорившись о встрече с ним через неделю после передачи рукописи со стихами осенью 2003 года, через три дня почувствовала беду, набрала номер редакции. Телефон долго не отвечал, потом трубку взяли и на мою просьбу позвать Кузнецова рыдающий мужской голос сказал, что он умер. Его последние слова, последнее желание было: «Домой!».

Кузнецов очень переживал безотцовщину, многие произведения его, стихотворения, отдельные реплики говорили о постоянной боли. Я понимала это, потому что так же болезненно переживала безотцовщину моя мама, которая ждала отца даже будучи уже сама мамой, не верила в его гибель. Кузнецов своего отца нашёл, вывел из забвения его и тех, кого похоронили вместе с ним. «Полковник Кузнецов и др.» было написано на захоронении. Что значит «др.», возмущался Кузнецов, он совершил и поэтический, и человеческий подвиг, восстановив фамилии погибших, добившись установления стелы со всеми фамилиями павших. О возвращении отца сыну — его рассказ «Два креста». Эта боль утихла, он исполнил сыновний долг, появилась другая. Юрий Поликарпович мечтал о сыне, потом об ученике, которому он сможет отдать свои черновики, передать своё дело служения Родине, народу.

Когда у меня родился сын, после двух дочек, Кузнецов очень тепло поздравил меня и сказал: «А ведь добилась своего, ну что за молодец!» Ему понравилось, что сын — Георгий. «Победоносец! Я ведь по церковному тоже Георгий». «И тоже Победоносец!» — поддержала я. Он почему-то расстроился. Его мысли всегда шли каким-то неординарным путём, он мыслил вглубь, не терпел поверхностного отношения к жизни ни в стихах, ни в поступках.

Я стала учиться у Юрия Поликарповича в 1993 году, в чёрном октябре ездила к Белому дому. Но участвовать в демонстрациях не пришлось, был жёсткий график работы на закрытом предприятии. А Юрий Поликарпович ходил, попал на разгон шествия у ВДНХ. Рассказывал об этом с неохотой и тяжкой горечью. Поэт не должен быть политизирован, он должен быть с народом, но не становиться частью толпы. Толпа забирает всё, мысли, чувства, всё подавляется инстинктом массы. Я не записала тогда его слов, он говорил это, куря в коридоре, но смысл был таким. Неординарным было его отношение к вере. Он не принимал догмы, но верил в «живого Христа».

Когда я прочитала книгу Федотова «О духовной поэзии», подарила такую же Кузнецову, он был ошеломлён. «Как ты узнала?» Я не поняла вопроса тогда, оказалось счастливое совпадение, в это время он начал работать над удивительным циклом, посвящённым Христу, никому не говорил, моя книга пришлась кстати. Так о детстве Христа не писал никто даже в мировой литературе. Много колыбельных, но такой пронзительной колыбельной и от лица Божьей Матери ещё не было.

ХРИСТОВА КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Солнце село за горою,
Мгла объяла всё кругом.
Спи спокойно. Бог с тобою,
Не тревожься ни о ком.
Я о вере, о надежде,
О любви тебе спою.
Солнце встанет, как и прежде...
Баю-баюшки, баю.

Солнце встанет над землёю,
Засияет всё кругом.
Спи, родимый, Бог с тобою.
Не тревожься ни о чём.
Дух Святой надеждой дышит,
Святость веет, как в раю,
Колыбель твою колышет...
Баю-баюшки, баю.

Веет тихую любовью
В небесах и на земле.
Что ты вздрогнул? Бог с тобою.
Не тревожься обо мне.
Бог всё видит и всё слышит,
И любовью, как в раю,
Колыбель твою колышет...
Баю-баюшки, баю.

«Спи спокойно, Бог с тобою» — привычная присказка приобретает глубинный смысл: Бог триедин. Колыбельная Богу.

Не тревожься ни о ком...

Не тревожься ни о чём...

Не тревожься обо мне...

Провидение во сне, спит ребёнок, а Бог в нем провидит грядущее. Но и земная женщина обретает божественные черты, потому что Богородица слилась в славянском сознании с Матерью сырой землёй, она всех родит, всех убаюкает. Это не каноническое, это наивное, интуитивное видение истины, русское видение. Без неё нет истинной веры. Наша беда не в том, что мы не можем поверить, рассудком возможно, но мы разучились видеть так, как видели мир и божество наши предки. Уходит из жизни духовная интуиция, заменяется рассудочной, самодовольной слепотой — и это одна из самых страшных наших потерь.

ВИДЕНИЕ ХРИСТА В УРАГАНЕ.

12 июня 2001

Шёл ураган на город тёмной славы,
Пластом ложилась каждая верста.
В разломе туч, над главами державы,
Я увидел иконный лик Христа.

Я грешник, и всего одно мгновенье
Он на меня со строгостью взирал.
Белёсой мглой заволоклось виденье,
И ураган Москву переорал.

Не я — другой бредёт по бездорожью,
И век ему свободы не видать.
Но строгость Божью с трепетом и дрожью
Он принимает, словно Благодать.

Ещё один штрих к прозрению русского характера. Сколько говорено о терпеливости русского народа, и ругали его за это, и корили, и насмехались. А это, может, вовсе и не терпение, а прозрение. Открылся лик Христа над всеми бедствиями и ужасами, и человек понимает, что это испытание, суровое испытание души Христом. Строг Бог, но он с тобой, кого испытует, того любит, значит, надо терпеть.

Как-то на семинаре Кузнецов признался, что его принимают за мистика, а он дитя своего времени. Времени, оторванного от веры. Возвращение — вот путь Кузнецова. Он возвращался к вере, возвращался, как современный язычник. «Самое главное возвращение, — говорил он, — возвращение человеческой души. По Священному Писанию, мы здесь гости, наш дом на небе. Душа приходит, потом возвращается». Поразительно, но такое же отношение к вере было у Дмитрия Дудко, прошедшего лагеря и мучения, он не озлобился на советскую власть, а считал, что при советской власти истинная вера окрепла, выстояла, а вот сейчас, когда дана ей свобода, начинает угасать, заменяется показушной пустотой.

Кузнецов вернул из забвения своего отца, сам смог духовно возвратиться к Богу, но как же ученик? На наших семинарах его не было, хотя было много интересных ребят, но как-то не складывалась духовная близость, не было соприкосновений.

Но Бог всё видит. Напоследок Кузнецову был дан истинный ученик, который совершает подвиг, не давая пропасть наследию Кузнецова, собирает по крупицам, продельывает титаническую работу, спасая от забвения главное. Это Евгений Богачков. Спасибо ему, низкий поклон!

Поэтому всё же Юрий Поликарпович — Победитель, он выстоял свою брань за русскую поэзию, он дал путь, дал возможность объединения. Во время прощания я положила на грудь ему белые розы, а к правой руке опустила кулончик с Георгием Победоносцем.